Георгий Чулков

Новеллы

Георгий Чулков

Новеллы

«Public Domain»

Чулков Г. И.

Новеллы / Г. И. Чулков — «Public Domain»,

«… Чем далее мы подвигались на север, тем холоднее становилось. Уже замерз коньяк, который мы везли в дорожных флягах. Уже кони порой останавливались, задыхаясь в морозной вьюге. Уже началось безумие холода, когда кажется, что пришел белолицый великан и поражает землю огромной палицей, когда земля и небо погружаются в огромную могилу – Ледяную Ночь.Так протекло тридцать три дня, – и вот мы заметили однажды, на рассвете, неясные очертания города, но вскоре погас день, стало совсем темно. И тогда замаячили перед нами слабые огни…»

© Чулков Г. И.
© Public Domain

Содержание

Северный крест 5
I 5
II 7
III 9
Сестра 11
Морская царевна 16
I 16
Конец ознакомительного фрагмента. 18

Георгий ИвановичЧулков
Новеллы

Северный крест

I

Тысячи верст возникали передо мною, как звенья цепи, конца которой не видно; загорались и угасали глаза товарищей, тюремщиков, солдат, судей, преступников; воздвигались тюрьмы с высокими оградами – «палями», – увидеть которые пришлось мне впервые здесь, в этой таежной стране. Мне памятны эти высокие ограды из цельных стволов, обтесанных грубо и заостренных сверху. Из-за этих древних сооружений можно было видеть лишь вершины горных дебрей и небо в его извечной метаморфозе пурпура, золота, лазури и грозного траура.

Когда миновали дни за решеткой, мы – я, пленник, и мои вооруженные спутники – сели в кибитку и помчались по льду величайшей из рек. По этой реке нам предстояло ехать три тысячи триста шестьдесят верст. И признаюсь, я встретил радостно ледяную пустыню.

Она прекрасна, когда ясный день лелеет в своем снежном лоне и огромные горы левого побережья, и беспредельную равнину другого берега, и речной путь, скованный бессмертным холодом. Голубоватый свет прозрачен над землей и рекой, – и небо как бы поет высокую песню.

Прекрасна пустыня в метельные дни, когда белый пепел вздымается и веет в лицо, и тысячи видений, созданных из серебряного праха, преграждают путь и плачут, и смеются, прильнув к одежде путника, заглядывая в его смущенные глаза. А ночью призраки, облекшись в черные ткани, уже поют иные песни, более сложные, и таинственные. Образуется вещий хор могильных голосов, и какой-то царственный безумец в широкой мантии дает знак жезлом, и тысячи хороводов кружатся то мерно, то порывисто, колдуя и очаровывая путника.

Так мы мчались по льду величайшей из рек, пьянея от чарований стоустой метели. Время от времени я чувствовал, как накреняется наша повозка, как она запрокидывается назад: это значило, что мы поднимаемся на берег – к станку.

Там, в избе, мы подкладывали дрова в камелек и опускали замороженные пельмени в кипящую воду. Утолив голод, мы вновь закутывались в оленьи шкуры и шли к повозке – я, пленник, и мои вооруженные спутники, – чтобы снова мчаться в метельную ночь.

Чем далее мы подвигались на север, тем холоднее становилось. Уже замерз коньяк, который мы везли в дорожных флягах. Уже кони порой останавливались, задыхаясь в морозной вьюге. Уже началось безумие холода, когда кажется, что пришел белолицый великан и поражает землю огромной палицей, когда земля и небо погружаются в огромную могилу – Ледяную Ночь.

Так протекло тридцать три дня, – и вот мы заметили однажды, на рассвете, неясные очертания города, но вскоре погас день, стало совсем темно. И тогда замаячили перед нами слабые огни.

Это был город: храм, тюрьма, торговые лавки, суд, больница и две высокие башни, сложенные из черных бревен в давние времена, когда край этот еще не знал, что значит власть государства.

Это был последний город на нашем пути. Далее мы ехали на оленях. Когда я увидел легкие нарты и пугливых животных с мечтательными и печальными глазами, мое сердце сжалось в странной тоске: я вдруг почувствовал свое одиночество и свою слабость перед лицом полярной равнины.

Как мчались олени! Как ослепителен был их бег! Как томителен и загадочен речитатив инородца.

Вот мы миновали темно-зеленую тайгу и мчимся среди низкорослого березняка. И я шепчу грешными устами молитву Великолепию Северного Сияния.

Как будто завеса небесная разорвалась и потоки холодного золота хлынули на землю – дар иного мира, где рождаются символы.

Так предстояло ехать нам три месяца; дважды мы меняли оленей на собак, трижды мы переезжали через горные хребты. Я не стану рассказывать подробно, как мы ехали, какие думы и призраки, мечты и желания нас посещали и что мы видели на Северной Равнине.

Но когда я прибыл, наконец, в то селение, где должен был начать новую жизнь, я был уже другим человеком, не похожим на того, кто был молод и светел среди вас. И как бы желая закрепить со мною связь, пустыня посеребрила мне голову – снежный знак снежной любви.

II

Был апрель, когда вооруженные спутники мои, оставив меня в селении Северный Крест, умчались на оленях обратно.

Начальники думали, что в селении этом живет двенадцать пленников и что я буду тринадцатым. Но ошибались начальники: им не было известно, что одиннадцать уже умерло – иные от Черной Болезни, иные от тоски, и только один товарищ Николай должен был разделять со мною участь изгнанника.

Товарищ Николай поразил меня своей наружностью: в нем было величие царственное и спокойствие гордое, воистину жреческое; и несмотря на то что одежда его ничем не отличалась от обычной одежды инородцев, сразу – при первом взгляде – было ясно, что перед вами стоит человек высокой расы.

Когда он назвал себя, я вспомнил его биографию, известную мне из Истории Революции; блестящая деятельность мятежника и руководителя восстания, самоотверженное поведение в эпоху упадка, заключение в жестокую тюрьму на многие годы и, наконец, ссылка в отдаленную местность, разлука навсегда с родной равниной, обездоленной, но вечноженственной и прекрасной.

Он милостиво протянул мне руку и сказал:

– Вот и вы в нашей пустыне. Не правда ли, здесь прекрасно?

Он сделал царственный жест, указывая на умирающую во льдах северную зарю.

Я невольно почувствовал благоговение и к этой заре, подобной кровавому вину в хрустальной чаше, и к этому старику, сумевшему не потерять души своей даже в этой стране, в стране ужаса и безмолвия.

Он повел меня в юрту, где в камельке жарилось оленье мясо. Мы тихо поужинали, и седой пленник почти не задавал мне вопросов о родине, столь обычных и, в сущности, напрасных. В самом деле, не все ли равно, что случилось в те дни, когда я там был; быть может, судьба вновь повернула колесо истории в иную сторону и поток событий пошел по иному руслу: ведь более пяти месяцев я был в дороге.

Отсутствие любопытства и задумчивый взгляд старика внушали к нему особенное уважение. И я невольно почувствовал любовь к этому изгнаннику, которого некогда страшилась Могущественная Власть.

И так мы стали жить с ним, как добрые соседи. Моя юрта была на расстоянии ста шагов от его жилища. Он вскоре оценил мою любовь к нему и мою скромность. Как старший товарищ, он ласково обходился со мной и учил меня жить в этой трудной стране.

Мы пробивали лед на реке, и, сделав ряд отверстий по линии полукруга, в конце этой цепи спускали через прорубь невод и ловили рыбу, чтобы питаться ею. Мы ходили на охоту в тундру и стреляли северную дичь, причем приходилось стрелять только наверняка, потому что порох и дробь мы получали лишь раз в год и в небольшом количестве от китоловов, которые заходили из океана в устье нашей реки.

Время от времени кочующие инородцы приближались к нашей местности. Иногда мы слышали даже шум, долетавший до нас из тундры. Тогда мы выходили из наших юрт и смотрели вдаль. В полдень можно было различить серую массу и пепельное облако над нею. Это – стада оленей, палатки, сшитые из оленьих шкур, и костры.

Однажды я проснулся от непонятного гула около моего порога. Кочевники подошли вплотную к нашим жилищам. Острый кисловатый запах распространялся в холодной прозрачности воздуха.

Я подошел к товарищу Николаю поделиться впечатлением от этого нашествия диких.

У камелька, в юрте товарища, я нашел незнакомку. Это была маленькая дикарка с темными косящими глазами и нежным ртом. Она сбросила оленью кухлянку и сидела на корточках перед огнем в одной рубашке.

Я с изумлением заметил, что товарищ Николай смотрел на дикарку глазами, полными любви.

– Ее зовут Леной. Не правда ли, она прекрасна? – спросил он меня без всякой иронии, показывая глазами на это дитя полярной пустыни.

Я молча улыбнулся, не зная, что ответить моему старому другу.

Через три дня кочевники двинулись в путь, но Лена осталась у нас, в юрте товарища Николая.

Он, как истинный рыцарь, обожал свою возлюбленную; он лелеял ее, он окружил ее нежной заботливостью и почтительной любовью.

И мне было странно видеть этого седовласого великана у ног маленькой женщины-ребенка, с белыми острыми зубами, как у хищного зверька, с движениями вольными и гибкими, – у ног этой кочевницы, влюбленной в раздолье северного побережья.

III

Я заметил в товарище Николае значительную перемену: движения его стали плавными, глаза блаженно сияли, голос звучал мелодично. Иногда при мне он подходил к Лене и нежно гладил ее по волосам, которые – по его собственному признанию – так трудно было освободить от густого жира. И Лена, не стесняясь моим присутствием, забиралась иногда на колени к старому товарищу и теребила его за бороду и шептала что-то ему на ухо. Но однажды я случайно увидел Лену одну, в стороне от наших юрт, около братской могилы, где мерзли кости погибших товарищей. Она стояла на могильном холме у креста и смотрела на запад, куда ушли кочевники – ее отец, мать, братья и сестры.

Я подошел к ней и спросил:

– Что ты делаешь здесь, Лена?

Она ничего не ответила мне, но я прочел в ее глазах великую тоску по воле, великую любовь к пустыне, к оленям, к Северному Сиянию…

После долгого молчания она промолвила наконец:

– На волю.

И я понял, что она убежит в тундру – только бы жить подальше от нежного плена. Я представил себе, как мчится Лена на нарте, запряженной тонконогими оленями, и крылатая заря распростерлась над холодной равниной и улыбается, приветствуя вольнолюбивую кочевницу.

Так и случилось. Лена убежала однажды утром, когда еще спал товарищ Николай на своей жесткой наре, не подозревая измены.

Проснувшись и не найдя в юрте Лены, товарищ Николай догадался, что она покинула его. Он пришел ко мне. Я стал утешать его, но мои слова звучали неуверенно. Три дня он не принимал пищи; он осунулся, побледнел; его зрачки расширились, и от этого глаза казались таинственными и страшными.

В течение сорока дней он почти не говорил со мною. Я заставал его перед камельком. Он понуро сидел, протянув руки к огню. Иногда глаза его были устремлены на камелек, и тогда казалось, что он хочет разгадать золотые и черные знаки, начерченные огнем.

И вот однажды я заметил то, чего я боялся и что смутно предчувствовал.

Товарищ Николай пришел ко мне возбужденный, неестественно веселый, похожий на пьяного.

– Я чувствую, что я снова молод, – сказал он мне, дружески пожимая руку.

Меня не обрадовали эти слова, я предчувствовал иное.

А товарищ Николай продолжал:

– Я молод. Мне кажется, что вскоре мне придется вернуться к людям, чтобы научить их мудрости, которую я постиг теперь. Да, мой друг, любовь открывает нам тайны, которые не всем известны. Я был наивен, пока прекрасная кочевница не открыла в моей душе самое священное и таинственное. Вы думаете, что моя невеста не вернется из пустыни к моему очагу? Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Она вернется. Я даже слышу по ночам ее голос. Она приближается ко мне, когда сон смыкает мои глаза, и она шепчет мне на ухо: «Приду, приду, приду». – О да, я теперь верю. Я скажу вам больше, мой друг. Я верю теперь в Бога. Это он послал ко мне эту чудесную девушку, чтобы она вернула меня миру. Не смущайтесь тем, что я вам открою сейчас: я – Божий избранник, и мне суждено научить всех любви и правде.

– Товарищ Николай, – сказал я, чувствуя, что от волненья сердце стучит у меня в груди, как стальной молоток, – всё, что вы говорите, прекрасно, но мне кажется, у вас лихорадка. Умоляю вас. Пойдите домой. Я уложу вас в постель.

Он посмотрел на меня насмешливо и сказал:

– Вы ошибаетесь, товарищ. Я, вероятно, кажусь вам сумасшедшим. Я заключаю это по вашему испуганному виду. Но могу вас уверить, мозг мой здоров, и я способен рассуждать не хуже, чем вы. Вас поражает то, что я атеист – неожиданно поверил в Бога, но для этого у меня есть достаточные основания. Дайте мне карандаш и бумагу, и я докажу алгебраически бытие Бога.

Он действительно взял карандаш и, к моему ужасу, стал писать на бумаге формулы. Бога он обозначил знаком X. Он написал три уравнения, где предполагал известными такие понятия, как «переживание», обозначенное им буквою A, личность, обозначенное буквою b, и почему-то «тайга», т. е. то сложное представление о пустынной земле и диком лесе, которое так своеобразно сложилось в душе северного дикаря. Последнее понятие он обозначил греческой y. Я с изумлением следил за его вычислением. Он ввел тригонометрические термины в цепь своих рассуждений и, наконец, вывел свою безумную формулу. Она была написана так:

$$X == [Ab + y]\sim$$

Эта нелепая и невозможная формула как-то укладывалась, однако, в его больной голове.

Я с ужасом понял, что он сошел с ума.

О, как страшно остаться в пустыне наедине с безумным! Как страшно прислушиваться к бреду, к темной логике заблудившейся души, видеть эти глаза, устремленные в ночь, понимать любовную и сумасшедшую тоску, неутоленную и обезображенную страсть. Иногда мне казалось, что я сам схожу с ума, что это двойник мой приблизился ко мне и терзает мою душу и мое сердце. Иногда, забывая, что передо мной сумасшедший, я вступал с ним в спор, и тогда мне казалось, что я лечу в бездну.

С каждым днем товарищ Николай становился все ужаснее и ужаснее. Уже призраки посещали его душу. И я сам иногда начинал верить, что старый друг мой воистину избранник Божий, а я – слепой раб, которому не дано узнать астральную правду, открытую пророкам.

С обнаженной грудью выбегал иногда из юрты товарищ Николай и обращался с проповедью к незримому народу. Он счастлив был в своем великом экстазе.

И однажды он объявил мне, что пришел день его крестных страданий. Мир не принял его, но он должен запечатлеть свою любовь мукой и смертью.

Я не понял его тогда, но вскоре всё разъяснилось.

В одну из мучительных ночей, когда я, утомленный, заснул крепко, он бежал из юрты.

С ужасом я не нашел его поутру в постели: я давно уже переселился к нему в юрту. Тогда я набросил на себя доху и выбежал из жилища. Его не было нигде поблизости.

Я побежал к братской могиле, предчувствуя почему-то, что он там.

И в самом деле я заметил его фигуру около креста. Но лучше было бы не приближаться мне к этому месту и не видеть того, что я увидел.

Мой безумный друг был мертв. Он стоял, прислонившись спиной ко кресту, с распростертыми руками, как бы распятый. Железный холод приковал его к символу Спасителя. Я невольно упал перед ним на колени и увидел на ладонях его кровавые знаки.

Потом я потерял сознание, и когда очнулся, по-прежнему чернел передо мной страшный крест, а над ним и пустыней струился золотой поток Северного Сияния.

1909

Сестра

В конце августа я поехал в имение моей тетки, незадолго перед тем скончавшейся, где жила тогда моя сестра, ее воспитанница и наследница.

Уже в вагоне железной дороги, прислушиваясь к мерному стуку колес, я почувствовал, как душа моя настраивается на иной лад, непохожий на тот, который возникал во мне при блеске огней в многосложном городском шуме.

Я отвык от странной пустынности полей, и, когда я ехал в коляске по шоссейной дороге от станции до усадьбы, мне было приятно смотреть на осеннюю землю со снопами собранного хлеба, на прозрачную глубизну далей и прислушиваться сердцем к веянью вольного ветра.

Воронье осенним карканьем своим приветствовало обнаженную землю, и какие-то маленькие зверьки отвечали траурным птицам свистом-стоном.

Солнце уже увядало на западе, когда моя коляска подъехала к огромному строгому дому.

На крыльце меня ожидала сестра, в которой я с трудом узнал девочку, какой она запечатлелась в моем воображении со времени нашего последнего свидания.

Теперь передо мной стояла стройная девушка с мудрыми и таинственными глазами, с золотой короной пышных волос, с движениями угловатыми, но царственно-гордыми, с губами неправильно очерченными и, быть может, с несколько большим ртом.

Она стояла в оранжевых лучах осеннего солнца, и мне показалось, что на ней лежит печать какого-то утомления.

Она протянула ко мне свои маленькие нежные руки, болезненно и любовно улыбаясь и покоряя меня своими лучистыми агатовыми глазами.

Наша встреча была молчалива, но, кажется, и она, и я почувствовали мгновенно, что значит любовь брата и сестры, что значит эта загадочная кровная связь.

Через час сестра водила меня по лабиринту комнат, показывая обстановку, не лишенную своеобразного вкуса, однако было видно, что моя покойная тетка, про которую ходило много странных рассказов, устраивала этот дом, не считаясь ни с каким определенным стилем и руководствуясь лишь прихотью своей фантазии, несомненно, впрочем, влюбленной в красоту печали и увядания. От всего веяло духом старины, забвения и, быть может, тайного целомудренного экстаза. На портьерах, обоях и обивке мебели преобладали тона неопределенные – пепельно-стальные и траурно-серебристые. В комнатах, открытых для приема, стояла мебель несколько сухого стиля, маскирующая то сокровенное настроение, которое таилось во внутренних покоях. Там, в спальне, кабинете, библиотеке и угловой комнате мебель была особого типа, по-видимому созданная современным художником по образцам средневековья.

По стенам висели картины преимущественно на религиозные темы: «Воскресение Христово» с маленьким светящимся ангелом на гробе; «Явление Богородицы св. Доминику»; траурный «Христос» с печальными глазами, написанный в темных рембрандтовских тонах, «Святая Мария Египетская» со змеиными косами, связанными на груди, с слегка косящими глазами, святыми и преступными.

В некоторых комнатах были превосходные витро, сквозь которые проникал смешанный свет, придававший обстановке таинственность. Одна зала со стенами из мрамора, украшенная торжественными кариатидами, казалась музеем, где разнообразие предметов несколько утомляло зрение.

Из этой залы мы перешли в библиотеку, где моя тетка, известная своей склонностью к философии и религии, хранила много прекрасных книг. Здесь, наряду с французскими вольнодумцами XVIII века, можно было найти Блаженного Августина и «Цветочки» Франциска Ассизского и, наряду с великими немецкими метафизиками, таких мистиков, как Сведенборг.

В особом отделе хранились сочинения высоких поэтов древности, средневековья и наших дней.

Беседуя с моей сестрой, я убедился, что она обладает умом, тонким вкусом и необычайной душевной чуткостью.

Я был взволнован этим свиданием и не без сожаления расстался с сестрой, когда она ушла в спальню. Вместо того, чтобы идти к себе в комнату, я спустился по широкой лестнице в парк, к пруду, который казался при звездном блеске серебристо-зеркальной чашей, торжественной и священной.

Я сел на старую чугунную скамью и отдался тем неопределенным мечтаниям, которые невозможно высказать, но которые всегда сладостно волнуют душу, как любовные стихи или молитвы.

В этом доме и этом парке я был окружен тенями прошлого. Я вспомнил лицо моей тетки, ее умные несколько близорукие глаза и старомодную прическу, вспомнил портреты моего деда, прадеда и всех этих моих чопорных предков, добродетельных и коварных, влюбчивых и жестоких, благородных и преступных. Они простирали ко мне свои руки, утомленные загробною жизнью, и звали меня на свои таинственные пути, где торжествует иная, неземная правда и, быть может, новая, неземная ложь.

Дни в этом доме проходили размеренно, и мой приезд не нарушил старого порядка, установленного еще при жизни тетки. Я встречался с сестрой во время обеда, потом она уходила к себе в комнату, и лишь по вечерам мы снова сходились в маленькой гостиной, где нередко занимались музыкой. Сестра прекрасно играла на фисгармонии, и я аккомпанировал ей на фортепьяно. Чаще всего мы играли Баха, и потом подолгу сидели в полумраке гостиной, прислушиваясь к молчанию, в котором звучала для нас неумирающая музыка. Душа моя, больная от мучительных прикосновений городской суеты, постепенно привыкала к неожиданно чудесной тишине этого дома.

Сестра казалась мне прекрасной, и моя любовь к ней не удовлетворялась ее нежным и дружеским отношением ко мне. Наши разговоры, похожие на философствования, волновали меня, потому что я сознавал свою отчужденность от каких-то тайн, которые были известны ей.

Однажды в разговоре она упомянула о тетке в выражениях, какие возможны лишь по отношению живых, и я был так смущен, что не решился возобновить разговор на эту тему.

Восемнадцатого сентября, в день ангела моей сестры – ее звали Ариадной – я читал ей вслух библию, и когда я дошел до второго стиха четвертой главы «Екклесиаста», где сказано: «И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; а блаженнее их тот, кто еще не существовал», – я заметил, что лицо сестры изменилось, и она низко склонилась над листом бумаги, на котором она задумчиво чертила какие-то знаки.

Тогда я спросил сестру, не думает ли она, что в словах библии есть противоречие: возможно ли говорить о блаженстве тех, кто еще не существовал?

На это сестра ответила мне с некоторой холодностью:

– Я не думаю, чтобы в этих словах «Екклесиаста» было противоречие, очевидно, автор книги разумеет под «существованием» преходящую видимость: тот, кто уже есть, может не существовать на земле, но тем не менее бытие его более реально, чем жизнь живых.

– Однако, – возразил я с запальчивостью, задетый ее холодным тоном, твое мнение, Ариадна, расходится с мнением христианских учителей, к которым ты, кажется, питаешь доверие. Христиане не думают, что возможно бытие личности до рождения человека на земле. Вспомни, что Ориген был осужден собором за подобное мнение.

Но сестра не смутилась моим возражением:

– Собор, – сказала она, – признал Оригена еретиком, но он не отверг целиком его учения. Но я говорю сейчас даже не об учении, а лишь об опыте, столь же реальном, как наша с тобой братская любовь.

Последние слова сестра произнесла с задушевной нежностью; тогда я стал перед ней на колени и прижался губами к ее рукам.

Наш разговор происходил ночью, но, несмотря на поздний час, мы почему-то решили выйти в парк. Луна стояла высоко в небе, и завороженные деревья, казалось, пели славу холодному свету нашей небесной спутницы. Над прудом висела непонятная серебряная сеть, должно быть, волокна тумана, осиянные месяцем. И лунная осень, эта молчаливая сомнамбула, бродила среди деревьев, простирая бледные руки.

И мы тихо сидели на скамье, едва касаясь друг друга вздрагивающими плечами, не смея заговорить, прислушиваясь к высокому небу и к увядающей и влюбленной земле.

Я мог бы назвать мою жизнь счастливой, если бы не болезнь сестры; я узнал об этой болезни случайно, однажды вечером, во время нашей прогулки по парку. Мы шли по дорожке вдоль пруда, когда я заметил, что сестре дурно, она торопливо пошла домой, слегка покашливая и прижимая к губам платок. Я пошел за ней, и на мои тревожные вопросы она нехотя ответила, что с ней бывают припадки удушья, которые находятся в непосредственной связи с болезнью сердца.

Я довел ее до спальни и в первый раз переступил порог комнаты, которую ранее занимала наша тетка. Эта комната разделялась пополам аркой: в одной половине стояла массивная кровать под балдахином из темного бархата, а двери и окна были задрапированы старинной русской парчой; в другой половине стоял византийский иконостас. Сестра объяснила мне, что в этой комнате-молельне хранятся вещи одного из родственников тетки, бывшего епископом. Здесь на особом престоле, покрытом золототканой пеленой, я заметил крест, украшенный яхонтами и опалами, евангелие, светильник и драгоценный потир. Перед старинными образами горели лампады, наполняя молельню прерывистым и неверным светом. В комнате пахло ладаном, воском и неизвестными мне благовонными куриениями.

Сестра попросила меня позвать прислугу и выйти из спальной, уверяя, что ей стало лучше. Придя к себе в комнату, я поспешил раздеться и лечь в постель.

Была полночь. Странная тревога овладела мною. Я чувствовал, что пульс мой бьется все чаще и чаще, что усталость постепенно овладевает мною. Мне стоило больших усилий приподнять руку, и я уже не мог изменить положение тела.

Я заметил, что на постели около моих ног сидит кто-то. И как только прошли мгновения напряженного ожидания и мои глаза отчетливо увидели то, что врачи называют галлюцинацией, страх мой прошел и в сердце осталось чувство томления скорее сладостного, чем мучительного.

На постели, у моих ног, сидела покойная тетка. Ее ноги не касались пола, так как постель была довольно высока; голова ее, в белом чепце, была обращена ко мне, и несколько насмешливые глаза смотрели как-то странно, как будто сквозь меня. В маленьких сухих руках она мяла кружевной платочек и что-то бормотала. Я старался вслушаться в ее слова и – наконец – разобрал одну фразу: «В час последнего томленья свет зажги…»

Я закрыл глаза – и видение исчезло. И тотчас я понял, что мое расстроенное воображение вложило в уста призрака строчку из стихотворения, которое я читал накануне.

Но беспокойство не оставило меня. Я торопливо оделся и, взяв свечу, пошел в комнату сестры, предчувствуя, что ее припадок продолжается.

Предчувствие мое оправдалось: сестра полусидела на постели, судорожно сжимая края одеяла; грудь ее высоко подымалась от прерывистого дыхания; воспаленные глаза с мучительным напряжением смотрели в одну точку. Я взял ее за руку. Пульс бился так часто, что я не мог сосчитать число ударов. Две служанки молчаливо ухаживали за сестрой: клали ей на грудь лед и время от времени давали ей лекарство, от которого распространялся запах эфира.

Сестра сделала знак глазами, чтобы я приблизился к ней, и, с трудом произнося слова, попросила меня достать из серебряного складня письмо тетки, предназначенное мне.

Сестра не раз говорила об этом письме, но я почему-то не торопился прочесть его. Повинуясь сестре, я достал из складня конверт, приблизился к киоту и, при красном свете лампады, прочел это странное письмо.

«Я должна предупредить тебя, – писала моя тетка, – что ты живешь в седьмой период твоего бытия. И та, которая была некогда твоей невестой, в новом круге – твоя сестра. Но наступит время возврата, и снова сестра станет невестой. Помни слова Соломона: „Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатленный источник“».

Понимая, что тетка не могла меня мистифицировать, я объяснил эти таинственные слова расстройством ее душевной жизни.

В это время сестра почувствовала, по-видимому, облегчение: дыхание ее сделалось мерным. Она закрыла глаза и тихо уснула.

На другой день я вспомнил о моей галлюцинации. «Ночной кошмар, – думал я, – свидетельствует о переутомлении нервной системы. Не надо искать в нем сокровенного смысла». И вскоре я забыл об этом случае. Жизнь пошла по-прежнему, и только одну особенность я стал замечать в себе, и для нее я не мог найти правдоподобного объяснения: моя душа стала необычайно чуткой к колебаниям в здоровье сестры. Нарушение мерности в биении ее сердца тотчас же отражалось в моей душе, даже в тех случаях, когда я был отдален от нее значительным пространством.

Каждый раз, когда ночью случался у нее припадок, я просыпался в тревоге, понимая грозящую опасность, несмотря на то что ни один звук не долетал до меня из отдаленнейшей комнаты, в которой спала моя сестра. Дрожа от волнения, я шел через лабиринт темных зал и всегда приходил в спальную сестры ранее, чем служанка.

Я научился ухаживать за больной, узнал лекарства, которыми она пользовалась, но я был уверен, что в моих руках есть еще одно средство, которое было более могущественно, чем стрихнин, растворенный в эфире. Я стал пользоваться особой силой, которая – как мне казалось – исходит из моей души.

Чтобы применить эту силу, я должен был сосредоточить свое вниманье на одной мысли об освобождении сестры от приближающейся смерти; для этого я обыкновенно пристально смотрел на одну светящуюся точку. Случайно я избрал для этого красную лампаду перед Распятием. Рука сестры лежала в моей руке, и я чувствовал, как усилием моей воли восстанавливается постепенно нарушенный ритм ее сердца. По-видимому, и сестра чувствовала мое влияние и с доверчивостью протягивала мне руку. Иногда она совсем не звала служанок, и мы вдвоем с ней проводили томительную ночь.

Я давно уже должен был покинуть старый дом, но все мои планы были разрушены настроением, которое овладело мною.

Близость с сестрой стала для меня насущной необходимостью, и сознание, что смерть уже приблизилась к ней и что только я один усилием своей воли отстраняю траурную гостью, заставляло меня забыть о всех моих планах.

Когда я, проходя по залам, случайно слышал шелест ее платья или видел ее в парке закутанную в осенний плащ, мое сердце сжималось от непонятного чувства, нежного и ревнивого.

Все в ней я любил благоговейно – и болезненный румянец, и лучистость лихорадочных глаз, и едва уловимый запах ее тела.

Но чем целомудреннее и чище было мое отношение к ней наяву, тем ужаснее и кощунственнее были мои сны, в которых сам дьявол, казалось, старался запятнать преступлением нашу братскую любовь.

Однажды сестра приснилась мне обнаженной, лежащей в своем алькове, на ней была широкая повязка – немного ниже линии сосцов, из-под повязки сочилась алая кровь; и я, не стыдясь, смотрел на наготу сестры. Я проснулся в ужасе и отчаянии: сон этот казался мне преступным…

А время шло; припадки стали повторяться все чаще и чаще, и сестра уже не вставала с постели. Уже давно пульс ее не бился в сумасшедшем торопливом ритме, а, наоборот, казался едва заметной дрожащей нитью, и лишь изредка волна крови, набегая, напоминала о том, что сердце совершает свою предсмертную работу. Я удалил служанок и один в продолжение трех суток стоял на коленях у постели сестры, не принимая пищи, и непрерывно, и напряженно оспаривая у смерти ее жертву.

Наконец, я не выдержал этой пытки и отдал сестру последней владычице.

Тогда Ариадна неожиданно открыла глаза, уже давно сомкнутые, и произнесла отчетливо непонятные для меня слова: «Жених мой возлюбленный!»

Потом голова ее запрокинулась на подушку, и началась агония, эти ужасные содрогания от чьих-то черных прикосновений.

Я, шатаясь, уже равнодушный ко всему, вышел из комнаты и, когда я проходил по мраморной зале, мне показалось, что кто-то прошептал мне на ухо: «Сумей предвосхитить смерть!»

И я не удивился этому голосу.

Пришли служанки убирать тело покойницы. Я послал в оранжерею за розами, и весь дом наполнился их благоуханием, и не было слышно запаха тления.

Потом пришел священник и какие-то неизвестные мне люди, и началась панихида.

И когда запели: «Упокой, Боже, рабу твою и учини ю в раи, идеже лица святых», – я вспомнил золотую корону ее волос и ее милые руки на клавишах фисгармонии, когда она играла Баха.

Уже не было прежней тоски в моем сердце, и в новом томлении я слушал пение, и кто-то внятно шептал мне: «Сумей предвосхитить смерть».

«Радуйся, Чистая, Бога плотью рождшая… Тобою да обрящем рай…»

Осенние лучи пробивались сквозь дым кадильниц навстречу молениям. Я подошел к окну. Там, в парке, шуршал листьями и веял багрянцем холодный октябрь.

И я вспомнил о великом одиночестве моем. «Сестра, – думал я, – знала что-то и кому-то молилась, и – должно быть, древние тени приходили к ней и благословляли ее на путях любви и мудрости.

А я один в печали моей и ничего не знаю, ничего не знаю…»

1909

Морская царевна

I

Дом, где я поселился, стоял под скалою, почти отвесной. Наверху росли сосны, молчаливые и недвижные. И лишь в бурю казалось, что они стонут глухо, и тогда ветви их склонялись, изнемогая. А внизу было зеленое море. Во время прилива от моего дома до моря было не более пяти сажен.

Я жил во втором этаже, а в первом жили мои хозяйки – мать и дочь. Матери было лет семьдесят, а дочери лет пятьдесят. Обе были бородаты. Хозяйская дочь напивалась каждый день, и тогда обычно она подымалась наверх и беседовала со мною, утомляя меня странными рассказами.

Старуха уверяла, что она внучка одного знатного и богатого человека, но злые интриганы отняли у нее наследство и титул. Трудно было понять, о чем она говорит.

Иногда старуха спрашивала у меня, не боюсь ли я чего-нибудь.

– Не надо бояться, – говорила она, странно посмеиваясь, – не надо бояться, сударь. У нас здесь тихо и мирно. Правда, изредка бывают ссоры, но все скоро кончается по-хорошему. Рыбаки, знаете ли, народ вспыльчивый, но добродушный в конце концов, уверяю вас…

Я не боялся рыбаков, но старуха внушила мне странную робость. Когда я, возвращаясь вечером домой, находил ее пьяной на лестнице, и она хватала меня за рукав, бормоча что-то несвязное, у меня мучительно сжималось сердце и, войдя к себе в комнату, я дрожащей рукой зажигал свечу, страшась темноты.

И так я жил на берегу моря. По правде сказать, я очень тосковал в те дни. Порою мне казалось, что у меня нет души, что лишь какие-то бледные и слепые цветы живут во мне, благоухая, расцветая и увядая, а того, что свойственно людям – понимания и сознания, – во мне нет.

Я жил, как тростник, колеблемый ветром, вдыхая морскую влагу, греясь на солнце и не смея оторваться от этого илистого берега. Это было мучительно и сладко.

Но пришел час – и все переменилось во мне.

Однажды во время прилива я пошел на пляж, где было казино и по воскресеньям играл маленький оркестр.

Я сел на берегу и стал смотреть на купающихся.

Из кабинки вышел толстый человек с тройною складкою на шее; на нем был полосатый пеньюар; толстяк тяжело дышал, осторожно наступая на гравий. Потом вышли двое юнцов лет по семнадцати; они были в черном трико; и я с удовольствием смотрел на их сильные упругие ноги и на смуглые плечи. Пожилые дамы, в просторных купальных костюмах, спокойные и равнодушные; худенькие девушки, слегка смущенные наготою и взволнованные соленым морским ветром; мальчики и девочки, то шаловливые, то робкие: мне нравилась эта пестрая толпа, среди белых фалез…

Я решил купаться. Когда я, надев трико, выходил из кабинки, пара зеленовато-серых глаз встретилась с моими глазами, и чья-то стройная фигура, закутанная в пеньюар, скользнула мимо меня и скрылась в толпе.

Мне показалось, что где-то я видел эти морские глаза.

Купаясь и плавая, я время от времени смотрел на женщин, которые вереницей стояли вдоль канатов, забавно приседая в воде, жеманничая и громко вскрикивая, когда волна, увенчанная седыми кудрями, обрушивалась на них и покрывала их голову своим зеленым плащом. Среди этих женщин не было той, чьи глаза встретились с моими, когда я был на берегу.

Наконец я увидел ее. Она проплыла мимо меня совсем близко – гибкая и скользкая, как рыба. Я видел прядь рыжих волос, выбившихся из-под чепчика, линию шеи и руку, нежную и тонкую.

Потом, после купанья, когда я шел по мосткам в кабину, я опять увидел зеленоглазую незнакомку. Она лежала на берегу одна, и мне было приятно, что никого нет около нее.

Я улыбнулся и прошептал:

– Морская царевна…

В тот день и небо, и море, и фалезы – всё было прекрасно. И за обедом (я обедал не дома, а в пансионе г-жи Морис) соседи мои казались мне приятными. С одним из них я даже разговорился, чего раньше не случалось. Это был поляк Дробовский, молодой человек лет двадцати семи.

Мне не было с ним скучно, но его чрезмерная любезность и непонятные пустые глаза несколько смущали меня.

После обеда он пошел меня проводить. Какие у него были странные жесты и поступь! Всегда казалось, что он слегка танцует: он подымался на цыпочки и прижимал руки к груди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.